

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ)
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

МУЗЕЙ-УСАДЬБА Л. Н. ТОЛСТОГО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА»

ТЕКСТ И ТРАДИЦИЯ

альманах

6

Санкт-Петербург
«Росток»
2018

УДК 82.161.1(051.4)
ББК 83.3(2РОС=РУС)6Я5
Т30

Издание осуществлено попечением Петра Авена

Редакционный совет альманаха «Текст и традиция»

Евгений Водолазкин (*Санкт-Петербург*) — главный редактор

Всеволод Багно (*Санкт-Петербург*) • Павел Басинский (*Москва*) •
Алексей Варламов (*Москва*) • Игорь Волгин (*Москва*) •
Андрей Дмитриев (*Санкт-Петербург*) • Оливер Реди (*Оксфорд*) •
Татьяна Руди (*Санкт-Петербург*) • Владимир Толстой (*Ясная Поляна* —
Москва) • Лиза Хейден (*Скарборо, США*) • Роберт Ходель (*Гамбург*) •
Елена Шубина (*Москва*) • Леонид Юзефович (*Санкт-Петербург*)

Т30

Текст и традиция: альманах, 6 / Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом)
Рос. Акад. наук, Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». —
Санкт-Петербург: Росток, 2018. — 460 с.
ISBN 978-594668-259-6

Альманах «Текст и традиция» издается Пушкинским Домом и Ясной Поляной, двумя известнейшими «литературными домами» России. Одной из важных его задач является рассмотрение современной русской литературы в контексте литературной традиции — классической и древней. В определенном смысле альманах соединяет в себе черты научного и литературного («толстого») журналов: в соответствующих разделах публикуются исследования академического типа и литературные эссе. Особое место в издании занимают диалоги участников литературного процесса на историко-культурные темы, а также публикация архивных материалов.

УДК 82.161.1(051.4)
ББК 83.3(2РОС=РУС)6Я5

ISBN 978-594668-259-6



- © Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, 2018
- © Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», 2018
- © Е. Г. Водолазкин, концепция, составление и редактирование, 2018
- © Коллектив авторов, 2018
- © ООО «Издательство “Росток”», 2018

Содержание

К ЮБИЛЕЮ АЛЕКСАНДРА ИСАЕВИЧА СОЛЖЕНИЦЫНА (1918—2018)¹

<i>Андрей Аръев (Санкт-Петербург)</i> Изгнание, где твое жало?	7
<i>Жорж Нива (Женева)</i> От темниц Пиранези до бреда бедного зэка Люцифера, или Как писать о тюрьме и о лагере	18
<i>Людмила Сараскина (Москва)</i> Хаос невидимый, предвиденный и зримый: От «Бесов» к «Красному колесу»	26
<i>Наталья Поньрко (Санкт-Петербург)</i> Россия в изгнании: Взгляд А. И. Солженицына на старообрядчество	50
<i>Марко Саббатини (Пиза)</i> Лагерная проза Солженицына в зеркале итальянской критики 1960-х — начала 1970-х годов (<i>предварительные заметки</i>)	62

ACADEMIA

<i>Ирена Шпадиер (Белград)</i> «Несходные подоби́я»: Средневековье и современное искусство	77
--	----

¹ Представленные в разделе статьи подготовлены по материалам конференции «Писатель в неволе: Ссылка, каторга, тюрьма в творчестве А. И. Солженицына и мировой литературе» (Санкт-Петербург, Пушкинский Дом, 20–22 ноября 2017 г.).

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Андрей Рангин (Москва)</i> «Княжна Мери» М. Ю. Лермонтова и «Поединок» Е. П. Ростопчиной: К вопросу о литературном контексте «Героя нашего времени»	94
<i>Людмила Луцевич (Варшава)</i> «Буду говорить, как сам видел, чувствовал — от чистого сердца...»: Николай I о русской политике	107
<i>Сергей Кибальник (Санкт-Петербург)</i> Гипертексты «Преступления и наказания» в русской литературе конца XIX — начала XXI века	128
<i>Алла Грачева (Санкт-Петербург)</i> Отблески Серебряного века в «Дневнике мыслей» Алексея Ремизова	140
<i>Татьяна Двинятина (Санкт-Петербург, Бремен)</i> Записи И. А. Бунина 1934—1939 годов: разрозненное и уцелевшее	155
<i>Михаил Эпштейн (Атланта)</i> Лунная теология в «Мастере и Маргарите»	173
<i>Таня Попович (Белград)</i> Идеология красоты и бунта: О романах Ю. Мисимы и Ф. М. Достоевского	178
<i>Анатолий Кулагин (Коломна)</i> Михаил Анчаров и Борис Корнилов: У истоков авторской песни	195
<i>Роберт Ходель (Гамбург)</i> Проза Драгослава Михайловича: Попытка синопсиса	217
<i>Габриэлла Элина Импости (Болонья)</i> Краски памяти в творчестве Нины Габриэлян	235

VOX SCRIPTORIS

<i>Павел Нерлер (Москва)</i> Осип Манделъштам и оптика трех революций	249
--	-----

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Игорь Волгин (Москва)</i> «Нам не дано предугадать...» Эдуард Бабаев: судьба филолога	300
--	-----

<i>Владимир Березин (Москва)</i> Русская орнитология	326
---	-----

ИСТОРИЯ КНИГИ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

<i>Евгений Абдуллаев (Ташкент)</i> «Поклонение волхвов»	357
--	-----

<i>Владимир Медведев (Москва)</i> «Заххок»	367
---	-----

<i>Алиса Ганиева (Москва)</i> Путь и опьянение	387
---	-----

<i>Александр Снегирев (Москва)</i> Делиться наслаждением	392
---	-----

<i>Наринэ Абгарян (Москва)</i> О женщинах	397
--	-----

АРХИВ

Из архива Лидии Михайловны Лотман Публикация Ларисы Найдиз (Иерусалим)	403
---	-----

РЕЦЕНЗИИ

<i>Павел Глушаков (Рига)</i> Время истоков	445
---	-----

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	449
----------------------------------	-----

**К ЮБИЛЕЮ
АЛЕКСАНДРА ИСАЕВИЧА
СОЛЖЕНИЦЫНА
(1918—2018)**

Хаос невидимый, предвиденный и зримый: От «Бесов» к «Красному Колесу»

В начале 1980-х в статье «Размышления над Февральской революцией» А. И. Солженицын писал: «Революция — это хаос с невидимым стержнем. Она может победить и никем не управляемая».¹

Это, пожалуй, одно из самых интригующих, загадочных высказываний Солженицына о революции.

Невидимый стержень. Как это понимать? Уместен еще один вопрос: *кто* не видит этот «невидимый» стержень? Тот, кто находится *внутри* событий революции и является их участником, или тот, кто *пытается понять* и осмыслить происшедшее, — что называется, постфактум?

Солженицын писал о революции так, будто он был внутри революционных событий — свидетелем, очевидцем, наблюдателем, хроникером. Вместе с тем — одновременно — он владел и взглядом «над событиями», как историк и аналитик.

«Я ношу в себе заряд историка / И обязанности очевидца»,² — признавался он еще в конце 1940-х, в поэме «Дороженька».

Совершенное владение этими двумя способностями дало писателю возможность и создавать большие художественные вещи, и размышлять о них в жанре исторической аналитики, со страстью философа и публициста.

¹ Солженицын А. И. Размышления над Февральской революцией // Солженицын А. И. Публицистика: В 3 т. Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1995. Т. 1. С. 463.

² Солженицын А. И. Дороженька // Солженицын А. И. Протеревши глаза. М.: Наш дом — L'Age d'Homme, 1999. С. 103.

Но был еще и вдохновлявший Солженицына *слугай Достоевского* — уникальный дар автора «Бесов» предвидеть, прозревать, догадываться о событиях еще не бывших, но тех, которые неизбежно, даже неотвратимо произойдут в исторической перспективе. Магический кристалл Достоевского до сих пор остается наиболее надежным, наиболее точным инструментом познания и понимания того, что случилось с Россией в XX столетии. При этом писатель безмерно удивлялся людям, которым «понятно только то, что у них на глазах совершается, а заглянуть вперед они не только сами по близорукости не могут, но и не понимают, как это другому могут быть ясны, как на ладони, будущие итоги настоящих событий».³

Достоевскому будущие итоги настоящих событий были видны как наяву.

Напомню: в 1921 году только что созданный Госиздатом московский журнал «Печать и революция», призванный отражать успехи культурной жизни победившего пролетариата, опубликовал статью видного критика-марксиста В. Ф. Переверзева, посвященную столетию со дня рождения Достоевского и ставшую впоследствии классикой литературной критики.

Всё сбилось по Достоевскому — таков был общий пафос статьи, имевшей провоцирующее название «Достоевский и революция». «Столетний юбилей Достоевского, — писал автор статьи, — нам приходится встречать в момент великого революционного сдвига, в момент катастрофического разрушения старого мира и постройки нового. Хронологически Достоевский принадлежит старому миру. <...> Достоевский — всё еще современный писатель; современность еще не изжила тех проблем, которые решаются в творчестве этого писателя. Говорить о Достоевском для нас всё еще значит говорить о самых больных и глубоких вопросах нашей текущей жизни».⁴

Критик писал о той болезненности, с которой Достоевский воспринимал все перипетии революционной трагедии, как будто он вместе с ее участниками переживал революционную грозу. Еще до революции писатель ясно видел в ней то, о чем не только в его время, но и в дни самой революции даже не догадывались. «Достоевский чужд всякой идеализации революции. Революция жестока и безнравственна, она ступает по трупам и купается в крови, она предпочитает мучительство, издеватель-

³ См.: Симонова-Хохрякова Л. Х. Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском // Достоевский в воспоминаниях современников: В 2 т. М.: Художественная литература, 1964. Т. 2. С. 111.

⁴ Переверзев В. Ф. Достоевский и революция // Печать и революция. 1921. № 3. С. 1.

ство, потому что совершается теми, кого мучили и над кем издевались. <...> В революции есть что-то дьявольски хитрое, бесовски лукавое. Ужас революции не в том, что она immoralна, обрызгана кровью, напоена жестокостью, а в том, что она дает золото дьявольских кладов, которые обращаются в битые черепки после совершения ради этого золота всех жестокостей. Революция соблазнительна, и понятно вполне почти маниакальной увлечение ею».⁵

1

Достоевский, прекрасно знавший, что такое революционный соблазн, и даже испытывавший его в годы своей молодости, за что и поплатился каторгой и солдатчиной, сумел первым разглядеть характер революционеров-подпольщиков. «Анатомируя и распластывая душу революционного подполья, Достоевский добрался до таких интимных тайников ее, в какие не хотели заглядывать, робко обходя их, сами деятели революционного подполья».⁶ Автор «Бесов» разгадал феномен Нечаева — зловещей, жуткой, характерно русской фигуры по тем крайностям материалистических убеждений и нигилистических настроений, которые тот воплощал. «Нечаев потому и спокоен, — запишет Достоевский в черновиках к «Бесам», — что верует, что христианство не только не необходимо для живой жизни человечества, но и положительно вредно и что если его искоренить, то человечество тотчас оживет к новой *настоящей* жизни».⁷ «Все попытки переустроить общество окажутся втуне до тех пор, пока не вынут из-под общества краеугольный камень, на котором оно стоит... Этот камень есть Бог и вера в Него» (11: 265) — такие слова вкладывает Достоевский в уста Верховенскому (Нечаеву).

Когда человек перестанет верить в Бога, мечтает нигилист, он переменился даже физически — тогда-то он станет нужным строительным материалом. «Тут вполне надо, чтоб переменилась личность на стадность уже непосредственно» (11: 271). «Мы ничем не связаны, как Запад. Тому слишком дорого расстаться с своим, хотя и дурным, потому что оно свое, ими выжитое. Мы же народ вакантный. Петр Великий нас упразднил от

⁵ Переверзев В. Ф. Достоевский и революция. С. 6–7.

⁶ Там же. С. 7.

⁷ Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л.: Наука, 1972–1990. Т. 11. 1974. С. 181. Далее все цитаты из писем и произведений Достоевского приводятся по этому изданию (том и страницы указываются в скобках).

дел, и потому мы прямо за великую светлую мысль разрушения. *Мы по следствие Петра Великого»* (11: 272).

Русскими нигилистами Россия мыслилась как *страна для эксперимен та*: в ней и только в ней можно *всё попробовать*, потому чем больше смуты, беспорядка, крови и огня — тем лучше.

Основатель революционного общества «Народная расправа», Нечаев был пионером того нигилизма, который дерзнул оформить свое тотальное отрицание в целостную стратегию. «Катехизис революционера», кото рый Нечаев составил и издал в 1869 году в Женеве, — документ, уни кальный для XIX века, — развил те самые женевские идеи (царство доб родетели без Христа) и возвел их в абсолют. «В этом документе, — писал Н. А. Бердяев, — нашли себе предельное выражение принципы безбож ной революционной аскезы. Это правила, которыми должен руковод ствоваться настоящий революционер, как бы наставление к его духовной жизни. Нечаевский “Катехизис революционера” до жуткости напомина ет вывороченную православную аскетику, смешанную с иезуитизмом, это что-то вроде Исаака Сириянина и вместе с тем Игнатия Лойолы ре волюционного социализма, предельная форма революционного аскети ческого мироотвержения, совершенной революционной отрешенности от мира. Нечаев был, конечно, совершенно искренний, верующий фана тик, дошедший до изуверства. У него психология раскольника. Он готов сжечь другого, но согласен в любой момент и сам сгореть. Нечаев напу гал всех. Революционеры и социалисты всех оттенков от него отреклись и нашли, что он компрометирует дело революции и социализма».⁸

Принципы безбожной революционной аскезы, правила и наставле ния духовной жизни русского революционера стали «евангелием» ниги листического фанатизма, дошедшего до полного изуверства.

Достоевский разглядел в Нечаеве тот самый потенциал, который рас крылся в XX веке, и только XX век смог подтвердить, что «всё сбылось по Достоевскому». Бердяев писал свою знаменитую книгу «Истоки и смысл русского коммунизма» в разгар сталинской диктатуры, в 1930-е годы, потому смог авторитетно подтвердить, что Нечаев предвосхитил тип орга низатора большевистской партии и принцип ее создания. Заповеди «Ка техизиса» вошли в русский коммунизм ленинского образца, и многие по стулаты Нечаева слово в слово были воспроизведены Лениным.

Революционер порвал с моралью и гражданским порядком общества. Он живет в мире, который отрицает, лишь для его уничтожения. Его дело — страшное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение. Он — не революционер, если ему чего-нибудь жаль в этом мире. Для ре-

⁸ Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990. С. 51–52.

волюционера морально лишь то, что полезно разрушению, что служит торжеству революции. Безнравственно и преступно всё, что стоит на его пути. Революционер уничтожает всех, кто мешает ему достигать революционных целей. Революционер не дорожит никем и ничем в этом мире и знает одну лишь страсть — революцию. Революционер стремится увеличить страдания и насилие, чтобы вызвать восстание масс.

«Катехизис» явочным порядком давал санкцию революционной тактике — «чем хуже, тем лучше», «цель оправдывает средства», «все средства хороши» и «всё дозволено» для осуществления поставленных задач. Нигилист и революционер Нечаев на практике показал, каковы могут быть предельные результаты атеизма, получившего власть. Сочувствие к народному страданию перерождается у революционера-фанатика в бесовскую одержимость силами зла и разрушения, в гордыню идеологического своеволия, в самовольные претензии на владение миром.

Россия Достоевского, раздираемая бесами нигилизма, стояла перед выбором своей судьбы. Опасность превращения страны в арену для «дьяволова водевиля», а народа — в человеческое стадо, ведомое земными богами и вождями к «земному раю», была определена Достоевским как нравственный и политический диагноз болезни, которой больна Россия. Эта болезнь — *революционный соблазн*: маниакальное увлечение революцией, в которой всегда есть то самое дьявольски хитрое, бесовски лукавое, что вовлекает в свою игру даже самых лучших людей.

«Мерзавцы дразнили меня *необразованною* и ретроградною верою в Бога, — писал Достоевский в своем предсмертном дневнике, готовясь ответить критикам романа “Братья Карамазовы”. — Этим олухам и не снилось такой силы отрицание Бога, какое положено в Инквизиторе и в предшествовавшей главе, которому ответом служит весь роман. Не как дурак же, фанатик, я верую в Бога. И эти хотели меня учить и смеялись над моим неразвитием! Да их глупой природе и не снилось такой силы отрицание, которое перешел я. Им ли меня учить?» (27: 48). Далее в том же дневнике он делает еще более поразительное признание: «*Все нигилисты*. Нигилизм явился у нас потому, что мы *все нигилисты*. Нас только испугала новая оригинальная форма его проявления. (Все до единого Федоры Павловичи.) <...> Комический был переполох и заботы мудрецов наших отыскать: откуда взялись нигилисты? (Да они ниоткуда и не взялись, а все были с нами, в нас и при нас (Бесы).)» (27: 54). «И в Европе такой силы атеистических *выражений* нет и *не было*. Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и Его исповедую, а через большое *горнило сомнений* моя осанна прошла» (27: 86).

Выражение «мы все нигилисты» означало под пером Достоевского, что каждый русский (не негодяй и не монстр, а даже человек с чистым сердцем) может заболеть этой прилипчивой, разрушительной болезнью

отрицания, которую он сам принимает за спасительную и благодатную истину. «*Негаевым*, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но *негаевцем*, не ручаюсь, может, и мог бы... во дни моей юности» (21: 129), — говорил он о себе.

Над Россией Достоевского нависла тень «Народной расправы». После недолгого испуга Нечаев вновь стал восприниматься русским обществом XIX века как страдалец-революционер, борец против «поганого строя». Уроки Достоевского, к несчастью для России, не пошли ей впрок, и микробу нечаевщины суждено было разжечь пандемию, мировой пожар.

И теперь уже не европейские революции влияли на русский нигилизм, повышая или понижая его тонус, а он сам, дойдя до своего предельного значения и взяв власть, стал решающим фактором европейской жизни в течение всего XX века.

«Будут, будут кровавые, полные ужаса дни; и потом всё провалится; о, кружитесь, о вейтесь, последние дни!»⁹ — напишет еще один русский провидец, назвавший свое провидение о столице Российской империи времен первой русской революции «пророчеством от Ужаса». «Петербург» Андрея Белого — это роман о русской революции вообще и русской революции 1905 года в частности, то есть роман XX столетия, с теми новыми смыслами, на которые литература предыдущего века только намекала, о которых пророчествовала и которые предвидела, — но не испытала. В центре «Петербурга» — драма интеллигентского сознания в эпоху революции, через которое преломляются реальные приметы событий 1905 года: митинги, демонстрации, казаки с шашками наголо, расстрелы, террор. Интеллигент-аристократ и его взаимоотношения с революционной партией — тема из «Бесов» — становится и здесь одним из главных сюжетных ходов романа. За три десятилетия, прошедшие после событий романа-хроники Достоевского, единичные явления приобрели массовый характер, болезнь пошла вглубь и захватила в плен столицу Российской империи. Террор, ставший к концу XIX века явлением обыденным и почти рутинным, к началу XX столетия «организовался»: бомбист мог танцевать на балу в кровавом домино, а потом — через час или через день — взорвать по заданию своей организации бомбу. В «Петербурге» на маскараде домино получает записку, в которой сыну сенатора предлагается убить отца, взорвав бомбу в его кабинете. При этом партия, зная, что сын ненавидит отца (и, значит, по ее расчету, хочет и готов его убить), оставляет за сыном три пути: убийство, самоубийство и арест, — и сын уже догадывается, что бомба давно находится в квартире сенатора.

⁹ Белый А. Петербург. М.: Художественная литература, 1978. С. 209.

Обращаться к опыту Достоевского в эпоху смутных времен, потрясенный и революций станет якорем спасения для многих русских художников и мыслителей. Идеи и образы Достоевского явятся тем могучим противовесом, тем нравственным щитом, который поможет им выстоять в момент торжества тотального губительного зла.

2

«Заряд историка и обязанности очевидца», которые обнаружил и осознал в себе Солженицын, явились ему не в одночасье, не в тот момент, когда он уже начал писать «Красное Колесо». Этот дар (а это, несомненно, дар) вместе с замыслом сопровождал, вернее, руководил им всю жизнь, с молодых лет. Доказательства этому — в гуще строк и строчек.

Автор поэмы «Дороженька» вспоминает о своем фронтовом умонастроении, о своих мыслях образца 1944 года:

Я — историк. Я хочу — понять...
Этот путь у Революции — один? Неумолимо?
Или был — другой?..¹⁰

А вот какие мысли одолевают 25-летнего капитана во время Великой Отечественной войны, на пути в Восточную Пруссию, походом через Польшу:

Как пред сфинксом, я стою пред государством,
Водянистые глаза его не говорят:
Убивать — или лечить? Реформы и лекарства —
Или меч и яд?
На столе — процесс Бухарина-Ягоды
И четырнадцатый съезд ВКПб...
Пролегли запутанные эти годы
Тайным шрамом по моей судьбе
И угрозой тайной: берегись!¹¹

В это же самое время его, офицера на войне, одолевает еще одно неотступное чувство:

¹⁰ Солженицын А. И. Дороженька // Солженицын А. И. Протеревши глаза. С. 113.

¹¹ Там же. С. 113—114.

Я предчувствовал, Ostpreussen,
Что скрестятся наши судьбы!..¹²

Это было предчувствие роковых событий перед революцией:

Как Четырнадцатым годом
Вот по этим же проходам —
Межозерным дефиле,
Вот по этой же земле,
В шесть солдатских переходов
От снабженья, от тылов,
За Париж, за чудо Марны
Гнали слепо и бездарно
Сгусток русских корпусов;
Без разведки и без хлеба
Гнали в ноги Людендорфу,
А потом под синим небом
Их топили в черном торфе.¹³

Но еще раньше, в юности, он буквально заболел событиями той войны.

— Затая в себе до крика
Стыд и боль того похода,
В храмном сумраке читален,
Не делясь, юнец, ни с кем,
Я склонялся над листьями
Пожелтевших карт и схем.
И кружочки, точки, стрелки
Оживали предо мной
То болотной перестрелкой,
То сумятицей ночной.
Жажда. Голод. Август. Зной.¹⁴

Какая-то сила связала — сначала студента Солженицына, затем капитана Солженицына, позже писателя Солженицына — с тем Августом: а тогда, в войну, он стоял посреди горящего города (тот так же горел, когда в 1914-м туда въезжал генерал Самсонов) — и уже не по книгам,

¹² Там же. С. 123.

¹³ Там же. С. 124.

¹⁴ Там же.

картам и схемам, а с натуры, как живописец, заносил свои впечатления в военный блокнот.

То есть еще до войны, со студенческих лет, мысль о революции перекрестилась с военными походами Первой мировой.

Для человека, рожденного в разгар Гражданской войны, революция была недавним событием его жизни, случившимся, по историческим меркам, *только это*. Солженицын еще в ранней юности испытал настоящий ожог от революционной темы, которой был опален и испепелен мир взрослых. Что бы и кто бы из родственников ни рассказывал о революции — *всё* это было только страшным и только зловещим. Всё детство революция воспринималась им как катастрофа, пережитая и семьей, и страной, была историческим свидетельством крушения старого мира. Так он осознал, о *чем* нужно писать — когда-нибудь. *Революция как событие и как тема стала прологом к его рождению как гражданина, она должна была стать импульсом к его рождению как писателя.*

Совершенно понятно, что писать о революции как о крупнейшем событии эпохи, которое изменило судьбы мира, страны, людей, его собственных родных и близких, было естественным импульсом. Если и писать о чем-то важном, большом, то только об этом.

Весь вопрос был — как о ней писать? С каким внутренним чувством? С каким страстным — или безучастным, так называемым объективным — отношением? Что считать правдой этой революции?

Над «Красным Колесом», задуманным в восемнадцать лет, студентом-первокурсником, он думал, ломал голову полвека. Писал «Красное Колесо» в изгнании, без перерыва 18 лет. Никогда не расставался с этим замыслом, понимая его как главное дело жизни, а на другие книги отвлекаясь «лишь по особенностям своей биографии и густоте современных впечатлений».¹⁵

Но чрезвычайно важно еще одно признание писателя: «Когда я семнадцатилетним мальчишкой задумывал этот роман, у меня тоже была идея, что всё дело в Октябрьской революции, а там немножко перед этим вот была Первая мировая война, а потом дальше Гражданская война. Но в ходе работы у меня происходил *сдвиг замысла*: я *нагал пятиться* и, собственно говоря, главную силу всю и главное время я потратил именно на Февральскую революцию».¹⁶

¹⁵ Солженицын А. И. К русскому зарубежному изданию «Августа Четырнадцатого» // Солженицын А. И. Публицистика: В 3 т. Ярославль, 1997. Т. 3. С. 475.

¹⁶ Солженицын А. И. Радио-интервью о «Марте Семнадцатого» для Би-Би-Си. Кавендиш, 29 июня 1987 // Солженицын А. И. Публицистика: В 3 т. Т. 3. С. 276–277.

Этот «сдвиг замысла» и это «нагал пятиться» означали только одно: у Солженицына не было заранее заданной жесткой концепции, идейной установки: было первоначальное чувство, дальше он изучал историю и строил свой роман, подчиняясь не установкам, а течению жизни. Шел от материала, от фактов, а не от заданных идеологических позиций.

И вот что главное: со временем с ним произошел *сдвиг не только замысла*, но и *капитальный сдвиг понимания*, занявший десятилетия.

3

Как много знал автор «Бесов» и о таких сдвигах, и о соперничестве замыслов, и о битве решений! «Он знал о революции больше, чем радикальнейшие из радикалов, и то, что он знал о ней, было мучительно и жутко, раскалывало надвое и терзало противоречиями его душу». ¹⁷ Начало работы над «Бесами» двигалось желанием порезче и поазартнее ударить по революционной партии. «То, что пишу, — вещь тенденциозная, хочется высказаться погорячее. (Вот завопят-то про меня нигилисты и западники, что *ретроград!*) Да черт с ними, а я до последнего слова выскажусь...» (29, кн. 1: 116). Достоевский хотел написать роман-памфлет, связанный с заговорщиками нового поколения; его увлекало «накопившееся в уме и в сердце», и он очень надеялся на новое сочинение не столько с художественной стороны, сколько с тенденциозной. «Нигилисты и западники требуют окончательной плети» (29, кн. 1: 113), — с жаром сообщал он Н. Н. Страхову. «Про нигилизм говорить нечего. Подождите, пока совсем перегниет этот верхний слой, оторвавшийся от почвы России. Знаете ли: мне приходит в голову, что многие из этих же самых подлецов-юношей, гниющих юношей, кончат тем, что станут настоящими, твердыми почвенниками, чисто русскими. Ну, а остальные пусть сгниют. Кончится тем, что и они замолчат, в параличе. А мерзавцы, однако же!» (29, кн. 1: 119) — негодовал он письме к А. Н. Майкову.

Но в августовские дни 1870 года в творческих планах Достоевского, сочинявшего острый злободневный роман для «Русского вестника», произошел перелом. Были решительно забракованы пятнадцать листов готового текста — итог многомесячной работы. Роман неожиданно дал трещину и подлежал радикальной переделке. Сдвиг замысла ощущался как несчастье. Ф. М. писал племяннице: «Роман, который я писал, был большой, очень оригинальный, но мысль несколько нового для меня разряда, нужно было очень много самонадеянности, чтоб с ней справиться. Но я не справился и лопнул. Работа шла вяло, я чувствовал, что

¹⁷ Переверзев В. Ф. Достоевский и революция. С. 8.

есть капитальный недостаток в целом, но какой именно — не мог угадать. <...> Две недели назад, принявшись опять за работу, я вдруг разом увидел, в чем у меня хромало и в чем у меня ошибка, при этом сам собою, по вдохновению, представился в полной стройности новый план романа. Всё надо было изменить радикально; не думая нимало, я перечеркнул всё написанное (листов до 15, вообще говоря) и принялся вновь с 1-й страницы. Вся работа всего года уничтожена. О, Сонечка! Если б Вы знали, как тяжело быть писателем, то есть выносить эту долю» (29, кн. 1: 136).

Работой всего года Достоевский жертвовал для нового героя, демонической личности с повадками Мефистофеля. Герой получал от автора его излюбленные мысли — о назначении России и Божественном промысле, основаниях нравственности и русском Апокалипсисе, однако всем этим богатством лишь смущал и морочил податливые души учеников. Подняв их к горным вершинам богословских откровений, подчинив их волю метафизической риторикой, демон высокомерно бросал своих адептов на произвол судьбы. Пафос высших философских построений, тайну мистического знания о России, глубину православных интуиций «обворожительный демон» использовал как приманку для адских ловушек.

«Записные тетради» лета 1870 года неопровержимо доказывают, что великие сокровища ума и горные вершины духа автор отдавал герою, когда тот уже состоялся и укрепился в своем демоническом статусе. Жертвы, обольщенные *героем-аристократом, пошедшим в демократию*, теряли возможность суда над ним, слали ему проклятия и сходили с ума.

4

Соблазны революционных идей и морок передовых учений пришлось испытать в молодые годы и автору «Красного Колеса». «В ходе образования в советской школе, главным образом под влиянием философских трудов, которые нам давали, я испытал постепенное охлаждение к церкви. Храмы были закрыты, и казалось — навсегда. И было несколько студенческих лет, когда я считал себя марксистом».¹⁸

Солженицын никогда не скрывал, какое сильное воздействие марксистского учения, внушавшегося студентам в вузах, он испытал в ходе советской жизни, как сильно он им увлекся и как из-за этого своего увлечения надолго утратил веру. «Такая повелительная сила в этом Поле, в этом влиянии марксизма, который разлит был по Советскому Союзу, — что в молодой мозг входит, входит, начинает захватывать. И так вот, лет

¹⁸ Солженицын А. И. Пресс-конференция в Лондоне // Солженицын А. И. Публицистика: В 3 т. Т. 3. С. 108.

с семнадцати-восемнадцати я действительно повернулся, внутренне, и стал, только с этого времени, марксистом, ленинистом, во всё это поверил. И с этим я прожил до тюрьмы: университет и войну».¹⁹

Солженицын не раз писал о своем поколении, которое было совершенно *оморено* коммунизмом, о молодежи, которой «натолкали» в головы ложные идеи, и она их искренно разделяла. «Было время в моей юности, в 30-е годы, когда был такой силы поток идейной обработки, что я, учась в институте, читая Маркса, Энгельса, Ленина, как мне казалось, открывал великие истины, и даже была такая у нас благодарность, что вот, благодаря Марксу, какое облегчение — всю предыдущую мировую философию, все 20—25 столетий мысли, не надо читать, сразу все истины — вот они уже достигнуты! О, это страшный яд! Когда говорят вам, что истина найдена, она — вот она, лежит такая доступная, зачем мучиться и проходить этих 100 философов и узнавать историю мысли? Да, в этом смысле я прошел искушение, и в таком виде я пошел на войну 41-го года».²⁰

Какие знакомые — и знаковые! — слова: страшный яд, морок, искушение...

Откровеннейшие, глубочайшие мысли Достоевского о вере и неверии, его религиозный опыт и его *осанна* проверялись на совместимость с натурой человека, которому было отказано в великом даре веры и который был оставлен *на одни свои силы*. От трагической дилеммы, ультимативно и с каким-то суровым отчаянием поставленной Достоевским, зависела не только судьба героя, но и судьба России: «Если православие невозможно для просвещенного, <...> то, стало быть, всё это фокус-покус, и вся сила России временная. Ибо чтоб была вечная, нужна полная вера во всё. Но возможно ли веровать?.. В этом *всё*, весь узел жизни для русского народа и всё его назначение и бытие впереди» (11: 179).

Это был отчаянный, фантастический маятник. «У меня на уме теперь 1) огромный роман, название ему “Атеизм” (ради Бога, между нами), но прежде чем приняться за который, мне нужно прочесть чуть не целую библиотеку атеистов, католиков и православных. Он поспеет, даже при полном обеспечении в работе, не раньше как через два года. Лицо есть: русский человек нашего общества, *и в летах*, не очень образованный, но и не необразованный, не без чинов, — *вдруг*, уже в летах, теряет веру

¹⁹ Солженицын А. И. Интервью с Дэвидом Эйкманом для журнала «Тайм». Кавендиш, 23 мая 1989 // Солженицын А. И. Публицистика: В 3 т. Т. 3. С. 337.

²⁰ Солженицын А. И. Выступление по французскому телевидению. Париж, 9 марта 1976 // Солженицын А. И. Публицистика: В 3 т. Т. 2. 1996. С. 397.

в Бога. Всю жизнь он занимался одной только службой, из колеи не выходил и до 45 лет ничем не отличился. (Разгадка психологическая; глубокое чувство, человек и русский человек.) Потеря веры в Бога действует на него колоссально. (Собственно действие в романе, обстановка — очень большие.) Он шныряет по новым поколениям, по атеистам, по славянам и европейцам, по русским изуверам и пустынножителям, по священникам; сильно, между прочим, попадает на крючок иезуиту, пропагатору, поляку; спускается от него в глубину хлыстовщины — и под конец обретает и Христа, и русскую землю, русского Христа и русского Бога» (28, кн. 2: 329).

Что означало намерение писателя после «Идиота», романа о *Князе Христе*, взяться за сочинение, где русский человек средних лет *вдруг* теряет веру в Христа и после многих искушений обретает ее вновь? Быть может, обострилось ощущение хрупкости веры, не закаленной в горниле сомнений, но полученной изначально, — она способна пропасть и от созерцания «Мертвого Христа» Ганса Гольбейна (Достоевский увидел этот шедевр в Базеле), и от жестокой, без жалости и сострадания, страсти, как у Рогожина, и от его жгучей, сумасшедшей ревности, и от изучения немецкой философии, и от погружения в критическую библеистику. Будоражила мысль о *внезапности* утраты — вера могла пропасть *вдруг*, стоило человеку выпасть из привычной колеи. Достоевский остро ощущал жажду человека, оставшегося без религиозного стержня, *обрести замену, которая станет мотором жизни*. И нужно было понять — что это за вера такая, если православный крестьянин с молитвой, обращенной к Господу, режет горло товарищу, чтобы забрать у него часы?

Самозванцы, приходившие к власти со знаменем обезьяны Бога, убрали с дороги и тех, кто в Нем не нуждался, и тех, кто выказывал своеволие, а, значит, метил на роль Бога, и тех, кто надеялся, что все-таки когда-нибудь обретет веру. Кровь Шатова, использованная самозванцами как политический клейстер, утрачивала условность, была ритуальна и мистически символична: Достоевский, не «пожалев» Шатова в канун его возрождения, выставял истинную цену своим заблуждениям и ошибкам, религиозным исканиям и духовным учителям.

Трагический герой, неисправимый грешник и атеист, никак не мог от решиться от своего кредо: он полагал, что, если когда-нибудь всё же уверует в Бога, произойдет ложь, ибо Его нет. Он предпочитал остаться несчастным со своей безбожной истиной, чем быть как будто счастливым, но с ложью. Он не мог заставить себя верить, ибо хотел оставаться честным человеком.

Таковы были парадоксы веры и неверия в мире героев Достоевского. «Для меня нет выше *идеи*, что Бога нет...» (11: 294).

Осенью 1941-го молодой учитель Солженицын, еще в школьные годы признанный негодным к военной службе, мучился мыслью, что не сможет спасти революцию от гибели, и страдал от того, что не сможет защитить ленинизм, — и ленинизм рухнет. Эта страсть заставила его несколько месяцев подряд бомбардировать военкомат отчаянными заявлениями, требуя немедленной отправки на войну, — и он добился своего. Солженицын тогда сполна познал *достоевскую* жажду человека, оставшегося без религиозного стержня, обрести достойную замену, которая станет мотором жизни.

В юности, в студенческие свои годы, он жил с ощущением предстоящего великого боя, который разрешится только Мировой революцией. Всему поколению нужно быть готовым погибнуть — в осознании этого было счастье и гордость. «Всему поколению — лечь не жалко, если по костям его человечество взойдет к свету и блаженству».²¹ В те годы Солженицына наполняла гордая уверенность в своем предназначении: «Всё поколение их родилось для того, чтобы пронести революцию с шестой части Земли на всю Землю».²²

Но мираж будущих сражений за революцию был знаком ему и раньше, со школьных детских лет:

«В бой за всемирный Октябрь!» — в восторге
Мы у костров пионерских кричали...²³

Кричал вместе со всеми и он, зараженный, как и многие тогда, раздвоением: вслух — «всемирный Октябрь», про себя — скрывая обстоятельства своей семьи, своего рано погибшего отца и его закопанные в землю царские ордена — офицерского Георгия и Анну с мечами.

Жарко-костровый, бледно-лампадный,
Рос я запутанный, трудный, двуправдный.²⁴

Позже, слишком рано для мальчика 12—13 лет, он стал задумываться над вопросами неразрешимыми:

²¹ Солженицын А. И. Люби революцию. Неоконченная повесть // Солженицын А. И. Протеревши глаза. С. 217.

²² Там же. С. 215.

²³ Солженицын А. И. Дороженька // Солженицын А. И. Протеревши глаза. С. 30.

²⁴ Там же.

В те годы красный цвет дробился радугой,
И, жаром переливчатых полос его обваренный,
Я недоумевал речам Смирнова, Радека,
Стонал перед загадочным молчанием Бухарина.
Я понимал, я чувствовал, что что-то здесь не то,
Что правды ни следа
В судебных строках нет,
И я метался: что?
Когда?
Сломило Революции хребет?
Делил их камер немоту — и наконец
В затылок свой я принял их свинец.²⁵

Достоевский, уже в свои зрелые годы, имея за плечами опыт создания крупнейших романов, вывел формулу: «Чтобы написать роман, надо за-
пасться прежде всего одним или *несколькими* сильными впечатлениями,
пережитыми сердцем автора действительно» (16: 10).

Готовность умереть за Мировую революцию и мучительное осозна-
ние того, что что-то в этой революции сильно *не так*, и были этими *силь-
ными впечатлениями*, пережитыми сердцем автора «Красного Колеса»
действительно.

Кроме того, у этого автора был сильнейший *лигный мотив* обратиться
в романе о революции к Первой мировой войне.

В начале августа 1914 года, едва только война была объявлена, его
отец, студент Московского университета, за три недели до начала учебы
сорвался из дому в станице Саблинской и поехал в Москву. На перроне
железнодорожного вокзала города Минеральные Воды он встречает ста-
рую знакомую гимназических лет, ныне петербургскую курсистку. Она
с затаенным любопытством и отчасти с надеждой (вдруг им окажется по
пути, и юноша согласится дальше ехать вместе) спрашивает: «Слушайте,
Саня, куда вы сейчас? Ну, найдите время! Давайте побудем вместе... Как
вы решите, так и будет, а?..».²⁶

Тот уклончиво отвечает: н-не сидится, мол, на хуторе...

Курсистка мгновенно понимает, что студент, на близость с которым
у нее были виды, едет на войну добровольцем. Неужто? Зачем??

То реальное (а не придуманное) обстоятельство, тот факт (а не худо-
жественный вымысел), что отец, недавний толстовец, студент-филолог

²⁵ Солженицын А. И. Дороженька // Солженицын А. И. Протеревши гла-
за. С. 56.

²⁶ Солженицын А. И. Август Четырнадцатого // Солженицын А. И. Со-
брание сочинений: В 20 т. Вермонт; Париж: YMCA-Press, 1983. С. 16.

Московского университета, имевший реальные основания уйти от военного призыва и сидеть в библиотеках вплоть до весны 1916-го (вот потом можно было и в военное училище пойти), ушел добровольцем на фронт, глубоко волновали Солженицына-сына и требовали непростых объяснений. Но и тут не нужна была реконструкция, ибо загадка имела точную разгадку.

Та самая курсистка никак не может понять, что случилось и со страной, и с юношей. Всего месяц назад мыслящие люди в России не сомневались, что русский царь — презренная личность, достойная лишь насмешки и издевки. Что же изменилось? Зачем этот студент лезет в гибельный водоворот? Чего он ждет от этой войны — после десятилетий гражданского поиска, демократических идеалов, народолюбия, толстовства, наконец, которое уж точно не могло бы одобрить участия грамотного, культурного молодого человека в европейской бойне, да еще добровольного? Где же его принципы, последовательность? Его пацифизм? Так неразумно поддаться темному патриотическому чувству, которое еще месяц назад значило только одно — *герносотенец!*

Ничего не смог выставить в ответ юноша, кроме невнятного: «Россию... жалко...».²⁷

Барышня-курсистка взрывается, будто ужаленная: «Кого? — Россию? <...> Кого Россию? Дурака императора? Лабазников-черносотенцев? Попов долгорясых?»²⁸

Добровольного ухода на войну не могли бы — он это твердо знал — понять и в станице. Не одобрил бы этого и Лев Толстой — так что в его решении была несомненная измена и учителю, и учению. Но демократические и непротивленческие аргументы, если бы они овладели всем народом, не оставляли России ни единого шанса, и через темную бездну, над которой повисла страна, не было ни единого моста. «И беззащитно почувствовал Саня, что э т у войну ему не отвергнуть, не только придется идти на нее, но подло было бы ее пропустить — и даже надо поспешить добровольно».²⁹

Этими настроениями и этими событиями и начнется «Красное Колесо», Узел I, роман «Август Четырнадцатого».

Солженицын, оглядываясь на 1914 год, думал: изменил ли бы Толстой свою точку зрения, доживи он до 1917 года, когда убивали *миллионами, сами друг друга?* Вот вопрос, мучивший Солженицына. Мысли и споры о Толстом сопровождали его отца всю войну.

²⁷ Там же. С. 20.

²⁸ Там же.

²⁹ Там же. С. 22.

Если государство — это перевернутая телега, то не пора ли ее на колеса поставить? А не бросать на произвол судьбы. А иначе — получается: спасай каждый сам себя. И он формулирует — и за себя, и за отца: «Когда трубит труба — мужчина должен быть мужчиной. Хотя бы — для самого себя. Это тоже неисповедимо. Зачем-то надо, чтобы России не перешибли хребет. И для этого молодые люди должны идти на войну».³⁰

Позже, уже повоевав три года на этой войне, он поймет ее губительные последствия.

6

Можно задаться вопросом: почему восемнадцатилетний юноша, описывая Первую мировую войну, ставит в центр Самсоновскую катастрофу? Отвечает он сам: «Еще когда мне было 18 лет, я стал ломать голову: как же описать эту войну? Война огромная, мировая, течет несколько лет, как ее описать? И я решил: надо описать всего-навсего одну битву, заменить всю войну одной битвой, но правильно эту битву выбрать, так, чтобы весь ход ее и результат ее показывали и вели к причинам революции, показывали слабость или недостатки нашего государственного и военного строя. Для такого образца я избрал тогда же — самсоновскую катастрофу 1914 года. Но описывать битву в общих словах — это не будет доказательно, это никого ни в чем не убедит. Я взял только одну битву, но описал ее подробно. И кроме военных деталей на тех же страницах изображены люди, во множестве, такими, какими они вскоре встретят революцию. А потом оказалось, что и 1914 годом не ограничиться, нужно взять причины более глубокие. Тогда пошел второй том Августа, где Столыпин и царь Николай II, и вся история от начала XX века».³¹

Выбирая в 1937 году самсоновскую катастрофу как важнейшее сражение Первой мировой, он будто напроорочил себе: в 1945-м ему довелось с нашими войсками попасть в те же самые места Восточной Пруссии.

Это были странные прозрения и странные совпадения.

Война Солженицына-отца проходила в белорусских лесах — там стояла 3-я батарея 1-го дивизиона 1-й Гренадерской бригады. Эти места стали для него дороги, как родина, к ним он привык, как к своей Сабле.

³⁰ Солженицын А. И. Август Четырнадцатого. С. 411.

³¹ Солженицын А. И. Интервью с Дэвидом Эйкманом для журнала «Тайм». Кавендиш, 23 мая 1989 // Солженицын А. И. Публицистика: В 3 т. Т. 3. С. 326.

То же самое напишет о своей сродненности с ильменьскими болотами, первой своей передовой, Солженицын-сын: *только испытав на себе, как привязывается человек к земле своего внезапного мужества, своего возможного подвига или своей завтрашней могилы, он перенесет эти чувства на отца.* Подробности военных будней — как подпоручик Солженицын и несколько батарейцев на позиции разбрасывали руками загоревшиеся зарядные ящики и как получили за это по георгиевскому кресту (а армейская георгиевская дума утвердила подпоручику также офицерского Георгия) — были взяты писателем, сыном того подпоручика, из фондов Центрального военно-исторического архива в Москве.

Он всё понял о Гренадерской бригаде — где она стояла, кто там был командир, когда и какие именно командиры сменялись. В «Красном Колесе» он точно воспроизведет все истинные фамилии и все истинные даты, обойдет своими ногами все нужные места, изучит боевую документацию, списки личного и конного состава, полевые книжки офицеров. За три года войны Солженицын-старший получал ордена, стал специалистом по противоштурмовым орудиям, обучал этой специальности других офицеров. Но многое изменилось. В 1914-м ему казалось, что нечестно не идти на фронт. Позже оказалось, что не всё будущее страны решается на фронтах войны. Что-то надломилось и в войне: как можно было воевать дальше, читая все эти манифесты и воззвания, которые появлялись в Петербурге? Теперь Россия должна была решать, как благополучно армиям разойтись — и всем вернуться к прежним занятиям.

...Реконструируя образ отца, подпоручика Солженицына, действительно получившего двухнедельный отпуск в апреле 1917 года и поехавшего не к родным в Саблю, а в Москву, где был университет, однокашники и друзья, Солженицын пытался понять чувства молодого человека, приехавшего с фронта мрачным, ибо насмотрелся по дороге, как гибнет русская армия. К этому моменту батарея, где служил отец, так и стояла на передовой, хотя фронт уже почти разбежался. Окопы пустовали, никто даже не пытался говорить о продолжении войны.

Первая мировая война закончилась бесславно для России — позорным Брестским миром и кровавой революцией. Ленин хотел превратить войну империалистическую в войну гражданскую — и добился этого.

Восточно-Прусская операция виделась Солженицыну ключевым эпизодом, который определил исход всей Первой мировой войны, которая, в свою очередь, представлялась ему одной из самых главных причин русской революции 1917 года.

Причиной главной, но не единственной: война наложила на крайнее ожесточение общества, накал ненависти образованного класса против власти, катастрофическую слабость Николая II и его роковое бездей-

ствие на троне. «Быть христианином на троне — да, — но не до забвения деловых обязанностей, не до слепоты к идущему развалу».³² Размышляя о роковом для России Феврале 1917-го и о несчастном даре кроткого царя привести страну из твердого процветающего положения на край пропасти, Солженицын писал: «В своем дремотном царствовании, когда бездействие избирается удобнейшей формой действия, наш роковой монарх дважды поспешествовал гибели России. И это при лучших душевных качествах и с самыми добрыми намерениями!»³³

Но была еще и Церковь, утерявшая высшую ответственность и упустившая духовное руководство народом. И было падение священства и крестьянства. И был национальный обморок. Полная потеря национального сознания. Провал русской истории.

«Я прошу, — скажет Солженицын собеседнику-немцу в 1987 году, — чтобы вы всё время имели в виду: что после Толстого и Достоевского вырыта в русской истории бездна. Мы пришли в Двадцатый век — в условия жизни как бы другой планеты. Сознание нашего народа сотрясено до такой степени, что всякие линии связи с Девятнадцатым веком и параллели с Девятнадцатым веком становятся трудными, их очень осторожно надо проводить».³⁴ Бездна, вырытая в русской истории и разъединившая две эпохи, — это не локальная, пусть даже и огромная, яма, это геологический разлом, прошедший через всю жизнь и требующий пересмотра всех духовных ценностей, всех координат бытия. И потому — скорбная констатация: «Приходится признать, что весь XX век жестоко проигран нашей страной; достижения, о которых трубили, все — мнимые... Мы сидим на разорище».³⁵ И в другом месте: «Не уклонимся осознать и страшней: русский народ в целом потерпел в долготе XX века — историческое поражение, и духовное, и материальное».³⁶

³² Солженицын А. И. Размышления над Февральской революцией // Солженицын А. И. Публицистика: В 3 т. Т. 1. С. 470.

³³ Там же.

³⁴ Солженицын А. И. Интервью с Рудольфом Аугштайном для журнала «Шпигель». Кавендиш, 9 октября 1987 // Солженицын А. И. Публицистика: В 3 т. Т. 3. С. 288.

³⁵ Солженицын А. И. Как нам обустроить Россию? // Солженицын А. И. Публицистика. В 3 т. Т. 1. С. 562.

³⁶ Солженицын А. И. Россия в обвале. М.: Русский путь, 1998. С. 200.

Название эпопеи — «Красное Колесо» — автор объяснил так: «Разожженный вихрь постепенно, но неуклонно захватывает в уничтожение всех, кто этот вихрь готовил и содействовал ему».³⁷

Отточенные, чеканные формулировки того явления, которое *сбылось по Достоевскому*. Предвиденное, ставшее зримым.

«Революция всегда есть пылающая болезнь и катастрофа. Это размах (крушение) от больших высоких надежд и ограниченности первичных задач — до полного разорения страны, всеобщего голода, обесценения денег, упадка производства, народной усталости, тошнотворного равнодушия, и хуже — к озверению нравов, к атмосфере всеобщей ненависти, разнузданию зависти, жадности к захвату чужих имуществ (у большевиков открыто сформулировано: “грабь награбленное!”), прорыву самых первобытных инстинктов, к разложению национального характера и порче языка».³⁸

Как — при словах «порча языка» (казалось бы, причем тут революция?) — не вспомнить убогую стилистику речи Петра Верховенского: «Я всегда говорю много, то-есть много слов, и тороплюсь, и у меня всегда не выходит. А почему я говорю много слов и у меня не выходит? Потому что говорить не умею. Те, которые умеют хорошо говорить, те коротко говорят. Вот, стало быть, у меня и бездарность» (10: 175).

Нечего и говорить об изломанном, расплывающемся синтаксисе Ставрогина и беспомощно-угловатой, судорожной речи Кириллова, который «говорил отрывисто и как-то не грамматически, как-то странно представлял слова и путался, если приходилось составить фразу подлиннее» (10: 75).

Короче: «Я презираю чтобы говорить... Я не стану глупостей...» (10: 77).

«Всякая революция, — писал Солженицын о времени, когда незримый стержень хаоса явил миру свою зримую сущность, — насыщена сгущенным числом отвратительных фигур, она как бы взмучивает их с морального дна, притягивает из разрозненности и небытия, а некоторых таких даже и обожествляет — после смерти (как Марат, Ленин), а то и при жизни (Робеспьер, Сталин). Открывает революция черные пропасти и в таких людях, которые без нее прожили бы вполне благопристойно».³⁹

³⁷ Солженицын А. И. Черты двух революций // Солженицын А. И. Публицистика: В 3 т. Т. 1. С. 505.

³⁸ Там же. С. 536.

³⁹ Там же. С. 537.

И здесь тоже видим полную рифму к «Бесам»: «В смутное время колебания или перехода всегда и везде появляются разные людишки. <...> Я говорю лишь про сволочь. Во всякое переходное время подымается эта сволочь, которая есть в каждом обществе, и уже не только безо всякой цели, но даже не имея и признака мысли, а лишь выражая собою изо всех сил беспокойство и нетерпение. Между тем эта сволочь, сама не зная того, почти всегда подпадает под команду той малой кучки “передовых”, которые действуют с определенной целью, и та направляет весь этот сор куда ей угодно, если только сама не состоит из совершенных идиотов, что, впрочем, тоже случается» (10: 354).

В понимании Солженицына Достоевский — один из тех, кто создал русскую литературную традицию, самую высшую духовную ее струю. «Трудно не попасть в эту струю и не испытать ее влияния. Он был пророком. Он предсказывал поразительные вещи. Терроризм, крайнее революционерство он предсказал, когда никто еще не видел, в 70-е годы прошлого века, в самом зародыше, 100 лет назад. Он, например, предсказал, что от социализма Россия потеряет сто миллионов человек. В это нельзя было поверить. А сейчас подсчитано, что мы потеряли сто десять миллионов человек. Это поразительно».⁴⁰

О своем восхищении пророческим даром Достоевского Солженицын говорил многократно. «Поразительно, что Достоевский в конце прошлого века предсказал, что социализм обойдется России в сто миллионов человек. Достоевский это сказал в 70-х годах Десятого века. В это нельзя было поверить. Фантастическая цифра! Но она не только сбылась, она превзойдена».⁴¹ И снова: «За 40 лет до того (до начала Первой мировой войны. — Л. С.) Достоевский предсказывал, что социализм обойдется России в 100 миллионов жертв. Цифра казалась невероятной. <...> Из подсчета (русского профессора статистики Ивана Курганова. — Л. С.) мы узнаем, что Достоевский если ошибся, то в *меньшую* сторону: социализм обошелся нынешнему Советскому Союзу с 1917 по 1959 — в 110 миллионов человек!»⁴²

Про *сто миллионов голов*, как о чем-то хорошо известном и само собой разумеющемся, дискутируют (вспомним, в том числе, и сцену из «Бесов» — «У наших») заговорщики, которые «держатся новейшего прин-

⁴⁰ Солженицын А. И. Телеинтервью японской компании NET-TOKYO (Интервью ведет Госуке Утимура). Париж, 5 марта 1976 // Солженицын А. И. Публицистика: В 3 т. Т. 3. С. 371.

⁴¹ Солженицын А. И. Выступление по испанскому телевидению. Мадрид, 20 марта 1976 // Солженицын А. И. Публицистика: В 3 т. Т. 3. С. 451—452.

⁴² Солженицын А. И. Выступление по английскому радио. Лондон, 26 февраля 1976 // Солженицын А. И. Публицистика: В 3 т. Т. 3. С. 287.

ципа всеобщего разрушения для добрых окончательных целей» (10: 77). «Свои» заговорщики и их принципы прямо соотносятся с доктринами европейских учителей (М. А. Бакунина, французского социалиста Ш.-Ж. Жаклара и др.), выступавших на конгрессе «Лиги мира и свободы» в Женеве в 1867 году: «Они (то есть “свои”. — Л. С.) уже больше чем сто миллионов голов требуют для водворения здравого рассудка в Европе, гораздо больше, чем на последнем конгрессе мира потребовали» (10: 77).

«Своим» было с кого брать пример. А. И. Герцен цитировал в «Былом и думах» (часть пятая, глава XXXVII) «каннибальское» высказывание некоего немецкого публициста: «Наружность Гейнцена, этого Собакевича немецкой революции, была угрюмо груба; сангвинический, неуклюжий, он сердито поглядывал исподлобья и был не речист. Он впоследствии писал, что достаточно избить два миллиона человек на земном шаре — и дело революции пойдет как по маслу. Кто его видел хоть раз, тот не удивился, что он это писал».⁴³ Герцен рассказывает в этой связи «чрезвычайно смешной анекдот»: когда он спросил у известного филантропа, добрейшего доктора Р., друга Гейнцена, как можно требовать два миллиона голов, филантроп сконфуженно ответил: «Гейнцен говорит обо всём роде человеческом, в этом числе по крайней мере *двести тысяч китайцев*». «Ну, вот это другое дело, чего их жалеть, — ответил я и долго после не мог вспомнить без сумасшедшего смеха эту облегчающую причину».⁴⁴

Научиться никого не жалеть — это в точности совпадало с «Катехизисом революционера». Учились «наши» и у Европы — с истинно русским размахом. Достоевский в период работы над «Подростком» даже продумывал план «Фантастической поэмы-романа»: «Будущее общество, коммуна, восстание в Париже, победа, 200 миллионов голов, *страшные язвы*, разврат, истребление искусств, библиотек, замученный ребенок. Споры, беззаконие. Смерть» (16: 5).

Хромой учитель, персонаж «Бесов», докладывает на собрании: «Нам вот предлагают, чрез разные подкидные листки иностранной фактуры, сомкнуться и завести кучки с единственной целию всеобщего разрушения, под тем предлогом, что как мир ни лечи, всё не вылечишь, а срезав радикально сто миллионов голов и тем облегчив себя, можно вернее перескочить через канавку. Мысль прекрасная, без сомнения, но по крайней мере столь же несовместимая с действительностию, как и “шигалевщина”» (10: 314).

⁴³ Герцен А. И. Сочинения: В 9 т. М.: ГИХЛ, 1956. Т. 5. С. 314 (см. об этом также: 12: 291).

⁴⁴ Там же. С. 315.

Сто миллионов голов — материя, жгуче интересующая членов пятерки. Возможен или невозможен для успешного выполнения подобный радикальный план революционного обновления?

Мнения расходятся.

Липутин, злен пятерки: «Сто миллионов голов так же трудно осуществить, как и переделать мир пропагандой. Даже, может быть, и труднее, особенно если в России».

Офицер, злен пятерки: «На Россию-то теперь и надеются».

Хромой учитель, бывший преподаватель словесности: «Нам известно, что на наше прекрасное отечество обращен таинственный index, как на страну, наиболее способную к исполнению великой задачи. Только вот что-с: в случае постепенного разрешения задачи пропагандой я хоть что-нибудь лично выигрываю, ну хоть приятно поболтаю, а от начальства так и чин получу за услуги социальному делу. А во втором, в быстром-то разрешении, посредством ста миллионов голов, мне-то, собственно, какая будет награда? Начнешь пропагандировать, так еще, пожалуй, язык отрежут».

И он, которого здесь называли *сильной губернской головой и агентом ста миллионов голов*, добавил: «Так как при самых благоприятных обстоятельствах раньше пятидесяти лет, ну тридцати, такую резню не докончишь, потому что ведь не бараны же те-то, пожалуй, и не дадут себя резать, — то не лучше ли, собравши свой скарб, переселиться куда-нибудь за тихие моря на тихие острова и закрыть там свои глаза безмятежно?»

Петр Верховенский, руководитель пятерки: «Кричат: “Сто миллионов голов”, — это, может быть, еще и метафора, но чего их бояться, если при медленных бумажных мечтаниях деспотизм в какие-нибудь во сто лет съест не сто, а пятьсот миллионов голов? Заметьте еще, что неизлечимый больной всё равно не вылечится, какие бы ни прописывали ему на бумаге рецепты, а, напротив, если промедлить, до того загниет, что и нас заразит, перепортит все свежие силы, на которые теперь еще можно рассчитывать, так что мы все наконец провалимся. <...> Я прибыл сюда с сообщениями, а потому прошу всю почтенную компанию не то что вотировать, а прямо и просто заявить, что вам веселее: черепаший ли ход в болоте, или на всех парах через болото?» (10: 314—315).

«Наши», при всём своем трусливом скепсисе, склонялись всё же к *решению скорому*, то есть *на всех парах гerez болото*. Метафора «сто миллионов голов» при хладнокровном рассуждении не слишком пугала. Можно было вполне привыкнуть к резне баранов.

Спустя пять лет после «Бесов» в «Дневнике писателя» за 1877 год Достоевский размышлял о европейских коноводах революции, которые — исключительно для счастья человечества — хотят добиться нового строя

посредством палки и крови. «Братство-де образуется потом, из пролетариев, а вы — вы сто миллионов обреченных к истреблению голов, и только. С вами окончено, для счастья человечества» (25: 60).

Обреченные на истребление отлично понимают, что «устроить так человека можно только страшным насилием и поставив над ним страшное шпионство и беспрерывный контроль самой деспотической власти» (Там же).

До осуществления затеи оставалось сорок лет. «Фантастическая *поэма-роман*», где царило тотальное беззаконие и насилие, чреватое огромными людскими жертвами, шпионство и истребление искусств, была на пороге воплощения в жизнь, готовилась выйти из тесноты рукописи на простор реальной действительности. Только произойдет это не в Европе, а в России, и восстание случится не в Париже, а в Петербурге.

* * *

Повторю высказывание А. И. Солженицына о Достоевском: «Он был пророком. Он предсказывал поразительные вещи. Терроризм, крайнее революционерство он предсказал, когда никто еще не видел, в 70-е годы прошлого века, в самом зародыше, 100 лет назад».

...Солженицын прожил огромную жизнь и прошел невероятный путь, который начался с юношеской романтической любви к революции, с восторженной мечты о победе Мировой революции. Этот путь лежал через войну, на которую он рвался, чтобы спасти ленинскую революцию от гибели, через тюремные решетки этой революции, через ее кровь и жертвы — к «Красному Колесу», к глубинному, метафизическому пониманию революции как пылающего зла и мировой катастрофы.